

Борис Пильняк

Волки



Борис Пильняк

Волки

«ФТМ»

Пильняк Б. А.

Волки / Б. А. Пильняк — «ФТМ»,

ISBN 978-5-457-12170-6

«Мужичок, говорил таинственно: – Товарищи, – спиртику не надоть ли? Спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра. На другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко: – Браток, сахару надо? – Графской завод мы делили, по пять пудов на душу на третьей станции делили на душу – свечной завод».

ISBN 978-5-457-12170-6

© Пильняк Б. А.

© ФТМ

Содержание

Глава первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Борис Пильняк

Волки

В тысяча девятьсот семнадцатом году, в декабре, когда не рассеялся еще дым октября, когда дым только густел, чтоб взорваться потом осьмнадцатым годом, – когда первые эшелоны пошли с мешечниками, развозя бегущую с нарочей армию, в ураганном смерче матерщины, – на одной станции подходил к вагону.

Мужичок, говорил таинственно:

– Товарищи, – спиртику не надоть ли? Спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра.

На другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко:

– Браток, сахару надо? – Графской завод мы делили, по пять пудов на душу на третьей станции делили на душу – свечной завод.

Степь, ночь, декабрь – в городах на заводах, в столицах ковалась тогда романтика пролетарской революции в мир, а над селами и весями, над Россией шел пугачевский бунт, враждебный городам. Тогда поднимался занавес русских трагедий, увертюра октября отгремела пушками по Кремлю. Тогда надо было знать секрет, чтоб влезть в поезд – в сплошную теплушку: надо было шайкой в пятнадцать человек лезть с кулачным боем в первую попавшуюся теплушку, через головы, спины, шеи, ноги, в невероятной матершине и в драке на смерть. – И вот, была холодная декабрьская ночь. Поезд шел в степь. Каждый, кто ехал за хлебом, ехал тогда в первый раз, – поезд шел в степь, на диких степных станциях растеривая тех, кто, не желая умирать с голоду, брал быка за рога – просто вез себе хлеба. Теплушки были набиты человеческим мясом до крыш, это мясо было злобно и голодно, оно злобно молчало, когда шумел поезд, и оно рычало матерщиной, когда поезд стоял: оно ехало из городов. И ночью поезд выкинул на дикую станцию полсотни людей. Луна уже сошла с неба, ночь помутнела, была черна, должно быть тепло перед снегом, на востоке едва-едва зеленело. За станцией был поселок, у станционной коновязи стояли возы, лошади мирно жевали, на возах валялись люди. Скоро узналось, что поселок переполнен людьми, – поселок не спал, то тут, то там вспыхивали огоньки спичек и папирос, но было очень тихо, потому что все шептались. Приехавшие – одни решали итти в трактир попить чаю и лечь часок поспать, другие – сейчас же итти по селам за хлебом: узнали, что ближайшее село в трех верстах. Несколько человек пошло к околице, – и когда они подошли к последней избе, где метелями были надуты сугробы и откуда открывалось черное пустое поле, – их остановила старуха.

– В Разгильдяево идете? – спросила она.

– Туда, а – что?

– Не ходите. Меня тута Совет приставил – упреждать. Волки очень развелись. На людей бросаются. Вчера ночью московского задрали, за мукой приезжал. А нынче с вечеру корову задрали. Погнали корову к колодцу поить, – как отбилась, никто не видел, – только, слышат, ревет корова, как свинья, за задами, – побежали мужики, видят – шагов сорок корова, а вокруг ней семь волков, – один волк тянет к себе корову за хвост, потом бросил сразу, корова упала, второй волк тогда корову за шею. – Когда подбежали мужики, полбока волки уж съели. – Не ходите.

Восток чуть бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приявший романтику городской, машинной, рабочей революции, – и эта весть о волках, это холодное пустое поле впереди навсегда остались у него одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.

С тех пор прошло пять лет.

И новый пришел декабрь – великих российских распутий.

Глава первая

Монастырь лежал в лесу, у соснового бора, на берегу озера, – на болотах, на торфяниках, в ольшаниках, в лесах – под немудрым нашим русским небом. Монастырь был белостенным. По осеням, когда умирали киноварью осины, а воздух, как стекло, цвели кругом на бугорках татарские серьги. Неподалеку, в семи верстах, шел Владимирский тракт – старая окаянная Володимирка, по которой гоняли столетьем в Сибирь арестантов. И есть легенда о возникновении монастыря. Монастырь возник при царе Алексее Тишайшем. Смута уже отходила, и засел здесь на острове среди озера разбойник атаман – Бюрлюк, вора Тушинского военачальник, грабил, с божьей помощью, Володимирку: знал дороги, тропинки лесные, вешками да нарезями путины метил, – заманит, засвищет. И на Владимирском тракте однажды, кроме купцов, изловил Бюрлюк двух афонских монахов, с афонской иконой. Монахов этих убили, перед смертью монахи молились – не о себе, но о погибшей душе Бюрлюка, о спасении его перед господом, – о них же скажут богу дела их. Монахов этих убили, но икона их осталась, – и вскоре потом Бюрлюк перелил пушки на колокола, в месте разбойничьем стал монастырь. Легенд таких много на Руси, где разбойник и бог – рядом.

Но монастырь стал почему-то женским, хоть и сохранил имя Бюрлюка – Бюрлюковская женская обитель. И идет декабрь, в ночах, в снегах, в метелях. В новую российскую Метель Бюрлюкова обитель погибла, забыта: за монастырскими стенами военное кладбище – склад авио-слома, ненужный уже и революции, при нем шесть красноармейцев, комиссар и военспец, – в грязной гостинице – капусто-квасильный, для армии, завод, на зиму заброшенный. Монашки живут на скотном дворе, без церкви, роются в поле по веснам, зимами что-то ткут и доят советских коров. И в малом доме отмирает, – умирают остатки коммуны анархистов. И декабрь.

– «В революцию русскую – в белую метель – и не белую, собственно, а серую, как солдатская шинель, – вмешалась, вплелась черная рука рабочего – пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоты, скроенных из стали, как мышцы, – эта рука, как машина, – взяла Россию и метелицу российскую под микитки: никто в России не понял романтики этой руки, как орлиная лапа, – никто не понял, что она должна быть враждебной – врагом на смерть – церквям, монастырям, обителям, погостам и пустыням не только русским, но всего мира; что это она должна была – во имя романтики, как машина, – нормализовать, механизировать, ровнять, учитывать, как учтена, нормализована, механизована машина, сменившая солнце электричеством; что это она в каждый дом внесла романтику быта заводской мастерской и рабочей казармы, с их полумраком, с их пылью, с их теснотой, с их расчетами и сором бумажным в углу на полу и на столе под селедкой. Это – рабочий. Тогда казалось, что над Россией из метели восстала – бескровная черная машина, рычаг которой в московском Кремле; Россия была лишь желтой картой великой европейско-российской равнины, бескровной картой – в карточках, картах, плакатах, словах, в заградительных отрядах, в тысяче мандатов на выезд, в нормализационной карточке на табак, в человеческих лицах, пожелтевших, как табачные карточки». – И декабрь. И монастырь.

«Некогда Россия – столетьями – прожеванная аржаным шла культурой монастырей, от монастырей, монастырями, где разбойник и бог рядом. Так создавались Владимирская, Суздальская, Московская Руси. На столетья – в веках застряли иконостасы, ризы, рясы, монастыри, погосты, обители, пустыни, – дьякона, попы, архиепископы, монахи, монахини, старцы. В монастырях, в городах за спасами, в церквях, за папертями, в притворах, в алтарях – иконами, паникадилами, антиминсами, ковриками, по которым нельзя ходить, невидимо ютился дух великого бога, правившего человечьими душами две тысячи лет, – рождением, моралью, зачатием и смертью, и тем, что будет после смерти. В церквях пахло ладаном,

тем, которым пахнет на улицах, когда несут покойников. При нем, при боге, были служки, которые носили костюмы ассирийцев: они мало, что знали, они богослужили, но они чуяли, что у бога нет крови, хоть и разводят кровь вином, и что бог уходит в вещь в себе, они же протирали лики икон и ощущали себя – мастерами у бога у них было много свободного времени. – Человечество, жившее в тридцатые годы двадцатого столетия, было свидетелем величайшего события – того, как умирала христианская религия. – Но исторический факт – в шестнадцатом веке в России, в семнадцатом – монастыри были рассадниками и государственности русской и культуры. И другой исторический факт – в революцию русскую тысяча девятьсот семнадцатого – двадцать вторых годов – лучшими самогонщиками в России было духовенство».

В Бюрюковской же девичьей обители не осталось даже священника: стены белые, – белые церкви, которые звонят только – сиротливо – ветром в метели, – черные дома, как кустарно-фабричные бумагопрядильные корпуса, да лес, да летом – озеро с карасями. Комиссар арт-кладбища – Косарев, военспец и шесть красноармейцев приладились жить так, чтобы спать по четырнадцать часов в сутки.

И декабрь. Есть такой мороз, который одевает деревья, дома, землю холодным, мглистым инеем. С сумерек поднимается луна и зажигает иней миллиардами бриллиантов. Небо атласно и многозвездно, и кругом неподвижность и тишина, тишина гробовая, от которой становится страшно и звенит в ушах. А мороз кует и сковывает все. – Под монастырской стеной идет проселок, он сворачивает к монастырским воротам, идет мимо скотного двора, через гостинные стройки, начало и конец его затеряны в лесу. Тени от монастырских стен истроек, тени от деревьев четки, точно вырезаны ножницами. В малом гостинном доме из нижнего этажа, из угольных окон идет керосиновый свет. Скрипят сани, едут двое в розвальнях – проезжают на скотный двор, слышен скрип нескольких шагов, и мирный керосиновый свет возникает в другом конце малого гостинного дома, во втором этаже. И опять тишина. Гостинный дом построен, как строятся казармы и хорошие конские конюшни: продолговатой коробкой, с коридором посреди, с двумя выходами в концах коридора и со стойлами номеров направо и налево.

В нижнем этаже, в углу, в комнате горит железная печка, сотворенная здесь же на арт-кладбище из военно-технического слом; под потолком висит лампа; на диване с книгой лежит анархист Андрей Волкович, у печки возится Анна. Потом приходит из города – за восемь верст – со службы Семен Иванович, он греется у печки. В доме холодно.

– Сегодня двадцать четвертое декабря по новому стилю, говорит Андрей. – Сегодня во всем мире, в Европе, в Австралии, в обеих Америках – рождественский сочельник, во всем мире, кроме России и Азии.

Молчат.

– В городе афиши расклеены, – говорит Семен Иванович, приезжает на праздники зверинец будут показывать попугаев, шакалов, обезьян, медведей, волков, а также всемирный оптический обман – женщину-паука. – Вы, Андрей, не ходили на завод?

– Нет, пойду завтра.

– Да, ступайте. Надо что-нибудь делать.

Анна подает на стол горячую картошку. Семен Иванович садится есть. Андрей натягивает на плечи тулуп и идет к двери.

– Вы куда?

– Пойду пройдуся.

В коридоре гостинного дома мрак и холод, здесь не топят. Над деревьями стоит луна. Тишина гробовая и неподвижность над монастырем. Тени – точно их вырезали ножницами, рядом с Андреем идет карапуз его тени. На скотном дворе в кухне у монахинь вспыхнул

огонек, и вот перебежала из тени в тень на дворе – бесшумно, – монахиня, – ворота во двор открыты.

Продналоговый инспектор Герц, бывший офицер, и его попутчик учитель Громов, что приехали заночевать в обитель, во втором этаже гостиного дома, плоткамиогревают комнату. Монашенка растапливает печурку. Они, Герц и Громов, бодры, стаскивают тулупы, распоясывают полушубки. Луна лезет в окна. Монашенка зажигает лампу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.